

ВСЕ КРАСКИ СПЕКТРА

Борис ЛЬВОВ-АНОХИН



РЕДИ многих разных театров один из самых моих любимых — это «театр Журавлева».

На концерте Дмитрия Журавлева не только слышишь, но и видишь ничуть не меньше, чем в самом большом и солидном театре, затрачивающем много денег на декорации и оформление. А многое, очень многое удается Журавлеву куда лучше, чем в любом театре.

Всем известно, как трудно играть и ставить пьесы Пушкина. Это почти никогда не удается. Когда Моцарт сидит за фанерным бутафорским клавишным и кто-то играет вместо него, в то время как он, сделав вдохновенное лицо, ударяет по деревянным клавишам, я сразу перестаю верить в то, что это Моцарт — гений, творец. И даже подлинная изумительная музыка великого композитора, сыгранная где-то за кулисами или внизу, в оркестре, театральным концертмейстером, перестает доходить до моего сердца.

А когда Журавлев, читая на эстраде «Моцарта и Сальери», произносит одно слово скупой пушкинской ремарки «играет», я начинаю слышать божественную музыку и видеть вдохновенное лицо Моцарта, бледное лицо измученного завистью Сальери. Потому что это видит сам Журавлев.

Я ненавижу ядовито-зеленую театральную луну и картонный фонтан в спектакле «Борис Годунов». Но вот однажды эту знаменитую сцену у фонтана читал Журавлев в каком-то клубе. После выступления к нему подошел один слушатель, рабочий, и сказал:

— Вот вы сказали слова «сад, фонтан», и я сразу представил себе яблоневый сад.

Это неважно, что в старинном парке Вишневецких, наверное, не было яблоневых деревьев, — слушатель в своем воображении увидел самый красивый, самый волшебный сад, который он мог себе представить, который видел в жизни. Журавлев дал толчок его воображению, его фантазии.

В чеховской «Даме с собачкой» есть фраза: «Подшел какой-то человек, — должно быть, — сторон, посмотрел на них и ушел». Однажды, повторяя «Даму с собачкой» к очередному концерту, Журавлев вдруг вспомнил, что в Крыму дорожки бываю усыпаны мелкими ракушками, которые трещат под ногами.

И вот после одного концерта в Ленинграде известная антриса сказала Журавлеву:

— Удивительно, как сегодня зашестестели, заскрипели ракушки под ногами человека, который подошел к Гурову и Анне Сергеевне.

Она услышала скрип этих ракушек, потому что он жил в воображении, во внутреннем слухе Журавлева.

Сам артист рассказывает:

— Если я просто говорю текст: «Яркий, зимний полдень», — то это только сухое обозначение, это еще не искусство. Все слова должны быть проработаны моей фантазией. Я должен видеть отблеск на инее, на снежном пути, может быть, «Март» Левитана. Вот если я это увижу, тогда и зритель увидит.

Журавлев недаром назвал посетителей своих концертов «зрителями». Это не оговорка.

Театр Журавлева — это особый театр. В нем он не изображает того или иного человека, а рассказывает о нем,

рисует его образ. Сам артист говорит об этом:

— Можно изобразить, показать, сыграть скорбь Василисы из рассказа Чехова «На святках», а можно вызвать этот скорбный образ в своем воображении и послать его зрителю. И тогда в его сознании этот образ будет стоять навеки, как фигура, вырубленная Микеланджело, потому что слушатель, разившись моим внутренним видением, сам будет создавать его в своем собственном воображении. А это самое сильное в искусстве.

Журавлев умеет вдруг раскрыть глубину и значение какой-то фразы, мимо которой вы можете пройти, читая рассказ сами.

Вот старуха Василиса («На святках») встает на рассвете, чтобы отнести на станцию написанное Егором письмо дочери. «До станции было одиннадцать верст» — Журавлев так говорит эту простую чеховскую фразу, что вы ясно представляете себе, как понуро и долго будет брести старуха одиннадцать верст до станции и столько же обратно, чтобы отправить это бессмысленное письмо. И вы чувствуете, что вся ее жизнь так же тяжела и безнадежна, как этот одинокий путь на станцию.

Искусство Журавлева заставляет задуматься о волшебной силе творческого воображения, о магическом «если бы».

«Как бы вы действовали, если бы вы были принц датский, если бы ваш отец умер, а мать вышла за другого и т. д.», — любил говорить актерам Станиславский. Вот в этом магическом «если бы» заключен весь секрет спенического творчества.

Но ведь Журавлев не играет ту или иную роль, он читает, рассказывает. Рассказывает так, как если бы сам все это видел, пережил, присутствовал при всех этих событиях, хорошо знал всех этих людей, о которых говорит.

Каждого автора Журавлев ощущает очень по-своему, очень индивидуально.

— Необходимо видеть то, о чем ты говоришь. Это самое главное в нашем искусстве, без этого ничего нет, — говорит Журавлев. — А уж дальше нужно разбираться в том, что Толстой видит так, Чехов — так, Тургенев — иначе. Нужно думать о стиле того или иного автора. Толстой — это огромная художественная настойчивость, полнота. Все у него потрясает четко и ясно, он властно договаривает все до конца, до полной и беспощадной ясности. А Чехов — не менее убежденный художник, но он ни на чем не настаивает, не хочет напрямую «учить», ничего не хочет навязывать; он как бы заставляет читателя самого думать и делать выводы.

И в соответствии с этим ощущением автора Журавлев и читает его произведение. Он как бы следует за могучим потоком толстовского повествования, стремясь как можно более ярко, выпукло и точно передать почти осязаемое богатство воссозданной в слове жизни. Может быть, Журавлев непосредственное всего бывает тогда, когда

читает Толстого. Читая о Пете или об Андрее Болконском, актер словно ничего не «трактует», как это принято говорить, — он стремится только к предельной зримости, почти чувственной осязательности всего, о чем пишет Толстой, и из этого богатейшего широкого потока образов и картин естественно и властно возникает глубочайшая толстовская мысль.

В чеховских же вещах Журавлев создает тонкие и порой неожиданные концепции, находит сложные подтексты. И опять-таки Чехова он воспринимает по-своему, «по-журавлевски». Он отказывается от элегической манеры, читает его горячо, страстно. Ему хочется почувствовать и передать глубокое волнение Чехова, его живое отношение к людям и событиям, о которых он пишет.

Вот почему для Журавлева «Дом с мезонином» — это не элегия несбывшейся любви, а почти трагическое столкновение естественного поэтиче-



Дмитрий ЖУРАВЛЕВ

Фото В. Шарова

ского отношения к жизни с черствостью и узостью.

В «Даме с собачкой» актер говорит о том, как любовь творит чудо преобразования и переосмысления мира, как в истинно полюбившем человеке просыпаются ощущение красоты природы, гнев против обывательской пошлости и бессмыслицы, мудрость настоящей человечности — одним словом, все лучшее, что только есть в людях.

Журавлев передает музыкальность, необыкновенное изящество чеховской прозы. Короткие диалоги художника и Мисюсь, их быстрые вопросы и ответы звучат у него как музыкальные аккорды, это настоящая гармония тончайших помыслов и настроений, воплощение человеческой чуткости.

Журавлев хорошо чувствует магию слова, его музыку, его первозданную свежесть. Он испытывает наслаждение просто от того, как изумительно «расставлены» в фразе слова, как они соединяются в чудесные созвучия. Он обращает внимание на то, что у Толстого написано «капли капали», трепетно слушает эти падающие звуки, это удивительное сочетание согласных и гласных.

— «Капли капали» — это гениаль-

но написано, так, как будто иначе и не скажешь, — говорит Журавлев. — Этот гений знал, какие слова выбирать. Уже в самом сочетании слов есть то, что волнует.

Журавлев влюблен в красоту русского стиха и прозы, недаром в одном из школьных литературных кружков его называли певцом литературы.

Конечно, Журавлев всегда точно, до запятой, воспроизводит текст автора, но часто создается впечатление, что он рассказывает «своими словами», что это его слова, его мысли, его сравнения.

Он любит читать «Египетские ночи» Пушкина. Мне кажется, что образ вдохновенного поэта-импровизатора чем-то близок ему, ибо сам он всегда решает проблему: как до конца «вжиться» в духовный, образный, поэтический мир автора. Когда это ему удается, он достигает удивительной непосредственности, непринужденности и свободы импровизационного самочувствия в любом рассказе.

Читая «Кармен» П. Мериме, он словно все время удивляется тому, что «вытворяет» героиня новеллы, делится со слушателем своим искренним удивлением от встречи с таким неожиданным, неукротимым, своенравным существом.

Я много говорил об артистической фантазии Журавлева. Нужно сказать, что его творческое воображение — пламенное, романтическое, бурное. Журавлев порывист, страстен и от этого далеко не ровен: он читает по-разному, не всегда удачно, но бывают у него концерты, которые дают право сказать, что этот человек знает, что такое истинное вдохновение.

Я помню, как, слушая тургеневские «Записки охотника», в какой-то фразе Петра Петровича Каратаева о Мочалове я в мгновенье интонации Журавлева вдруг явственно ощутил бурный пламень, бушевавший в груди русского трагика и одушевлявший простых людей, вроде героя тургеневского рассказа.

Что же касается мастерства Журавлева, его артистичности, то в ней много от вахтанговской школы, от вахтанговского театра, где он начал свой путь в искусстве.

Легкость, умная ироничность, жизнерадостность, какая-то праздничная приподнятость — все это черты «вахтанговского начала».

Журавлев по многу лет читает и шлифует свои лучшие вещи. У него есть великие всегдашние «спутники» — Пушкин, Толстой, Чехов, Тургенев.

Работа над «Медным всадником» продолжается уже 30 лет, «Даму с собачкой» Журавлев читает 20 лет, отрывки из «Войны и мира» — 25 лет. И до сих пор актер не считает эти работы завершенными, продолжает искать и пробовать.

Он читает Гоголя, Блока, Маяковского, «Василия Теркина» Твардовского, стихи молодых советских поэтов.

Журавлев — художник цельный и честный. Он ничего не делал и не делает ради так называемой злободневности или моды. Ни разу он не произнес со сцены строчки, в литературной ценности которых он не был бы убежден. Он ненасытно интересуется жизнью, людьми, искусством. Страстно любит живопись, может часами простаивать перед картинами великих мастеров, без конца рассматривать их рисунки, репродукции, книги об их творчестве.

Эта «жадность» к живописи, к краскам представляется мне понятной и закономерной — она помогает актеру создавать в своем воображении нужные картины и образы, насыщать свою фантазию всеми красками солнечного спектра.

И, наконец, он работает. Мучительно, долго, приходя то в отчаяние, то в восторг, то в ярость, но всегда упорно и самоотверженно.

Все это и позволило Галине Сергеевне Улановой написать на своем портрете, подаренном Журавлеву, простые слова, полные большого смысла:

«Человеку настоящего искусства».